

Вадим Чирков

Даня Шац и его капельное орошение

Даня Шац жив в моей памяти. И я знаю, что многим ему обязан. В жизни каждого из нас, в некий важнейший отрезок времени должен быть человек, который произнесет нужные слова или примет в тебе участие. А Даня был именно тем человеком.

Я, тренер по вольной борьбе в обществе «Динамо», поселился тогда у моего ученика, Изи Фукса. 16-летний юнец жил в двухкомнатной квартире один, и вот почему. Отец его, часовой мастер, был расстрелян как валютчик (переводил советские деньги в доллары), мать как соучастницу преступления надолго посадили, бабушка умерла, когда в дом пришли с обыском. Стены квартиры были везде просверлены – органы искали бриллианты. Газ был отключен за неуплату...

Шац жил через три дома от Изи, соседи были знакомы, как-то общались. Мой хозяин, встретив Шаца, рассказал ему, что у него живет его тренер. Даня, сам занимавшийся лет пять назад борьбой, решил со мной познакомиться. Мы познакомились, Связывало нас на то время две вещи – общий год рождения и принадлежность к одному виду спорта. Нет, ежели честно, – три. «Бабы». Даня был небольшого роста, очкарик, картавил, да и не красавец. Ясно, что волновало ум – женский ответ на его, Шаца, приближение, на его картавость. Очень скоро мы с ним углубились в бесконечную тему отношений полов...

Как-то, по-соседски зайдя ко мне, он увидел на моем столе стопку бумаги и рукописный текст на первом листе. Прочитал. Поднял на меня остекленный очками взгляд.

– Вот это лишнее, – показал на первый объемистый абзац. – Начинать лучше с этой строки, – показал ее. И тут же переключился – начался тот, близкий нам обоим, 27-летним, разговор.

Шац говорил и говорил, а я не мог дождаться, когда он уйдет: мне нужно было побыстрее понять, почему первый абзац лишний, и что там за строка, с которой нужно начинать рассказ.

После рассказ был опубликован, он начинался отмеченной Шацем строкой: «Наша батарея стоит над обрывом, четыре 130-мм пушки...»

А вскоре Шац привел меня в Литобъединение, что располагалось в доме, где жил когда-то Пушкин, на втором этаже. Я увидел пишущую Одессу, молодых людей нашего с Данькой возраста, которые читали с кафедры свои стихи и рассказы, другие поднимались на нее разбирать и критиковать услышанное.

Помню, какой гул, какое у-у-у пронеслось по помещению, когда один из взобравшихся на кафедру начал свой рассказ фразой: «В комнате царил таинственный полумрак...».

И помню воцарившееся в аудитории зачарованное молчание, когда один парень из порта, исподлобья глянув на аудиторию (зубастые одесситы, только что безжалостно осмеявшие коллегу), повел рассказ так:

– Лошадь была, – пауза, взгляд в зал. – Белая... – снова пауза. – Суставы ног у нее были уже опухшие, и копыта потрескались, короче – пожила. Поработала, – пауза, зал насторожился, слушая. – Ходила лошадь уже трудно... Но была у нее радость – жеребенок. Тоже белый... – потомки братьев Катаевых, Олеси, Багрицкого осторожно переглядываются, но молчание абсолютное. Это – ритм, это – стиль, это – новое...

Скажу, чем занимался в отношении меня Шац – капельным, похоже, орошением. Этот термин я применяю, вспоминая школу, какую я получал в Одессе.

Следующий запомнившийся шаг моего друга был еще интереснее – он купил мне билет на концерт блиставшего тогда Вячеслава Сомова, читавшего в тот год так называемую «Западноевропейскую поэзию», куда входили Витезслав Незвал, Альберти, Пабло Неруда, Лорка...

...Он вышел на сцену быстрым шагом, с каким-то вызовом в каждом движении, с опасным, как мне показалось, блеском глаз;

сейчас его можно объяснить: это был вызов тогдашней цензуре, не допускающей мировой поэзии в советские залы.

– Огромен этот дом – отсутствие мое... – звучала строка Пабло Неруды, заставляя замирать сердца от безмерности образа.

Потом по просьбе публики Сомов прочитал есенинское «Письмо к женщине», и я понял, что совершенно не знаю этого стихотворения, что слышу его впервые, хотя читал «Письмо...» не раз и не два.

Случилось наконец и со мной – я написал первое стихотворение. Кому показать? Шацу! Я осмелился и прочитал ему стих, Авторитет выслушал до конца, поднял на меня глаза за ледышками (–50°) очков и произнес то знаменитое, чем он славился тогда в Одессе:

– Ну и что?

Трам-тарарам! Я что-то невнятное забормотал, бумагу со стихотворением поскорей спрятал (потом выбросил), перевел разговор на никчемную бытовуху; краткая оценка моего дебюта показалась мне исчерпывающей. В поэзии, как в физике: если не открываешь, не стоит ни тратить усилий, ни чернить бумагу. (За всю свою жизнь я написал, может быть, всего пяток стихотворений, и то с оглядкой на Шацево – нет, скорее, на главное в творчестве мерило – «Ну и что?».)

Однажды я чуть не убил Шаца. Я уже говорил, что работал тогда тренером по борьбе: улица Энгельса, что напротив парка Шевченко, большой зал на втором этаже, общество «Динамо», юноши. Гибкие и смуглые одесские мальчишки и юнцы, радостью было добавлять к их живости еще и ловкость борцовских приемов.

Шац шел с пляжа с девушкой, пара пересекла парк и заглянула ко мне. Сели на низкую гимнастическую скамейку, стали смотреть. Мальчишки отрабатывали приемы. Даня ими залюбовался, он ведь тоже лет пять назад кувыркался на ковре. Я, правда, не знал его борцовского уровня... Мои подопечные перешли к схваткам на ковре. Одна пара, другая... И вдруг Данька не выдержал:

– Слушай, дай я тоже поборюсь.

– А что... Ты в плавках?

– Все в порядке.

– Ну, раздевайся.

Шац был роста небольшого, по моим расчетам, боролся где-то в весовой категории 57 килограммов. Я дал ему в противники лучшего своего мальчишку, Валеру Золотухина, весившего примерно столько же. Быстрый, умница, первым схватывающий динамику броска, чуть монгольский разрез глаз, небольшая скуластость, Валера был единственным, пожалуй, кто брал все, что я давал как тренер.

Они сошлись на середине ковра, началась схватка. Девушка на гимнастической скамейке, да и я, в прошлом дважды призер первенств Украины по борьбе, о чем Данька знал, придали Шацу куража, молодечества – и я давно такой борьбы не видел. Бросок следовал за броском – Валера подхватил Шацеву лихость, мосты, уходы, снова стойка, снова бросок, мост, уход с моста...

За этой схваткой – борются очкарик, «старикашка» (27 лет), друг тренера, и быстрый и ловкий, как обезьяна, Валера – следили во все глаза и девушка, и все мои борцы.

Я глянул наконец на секундомер – 4 минуты. Свисток. Противники пожали друг другу руки, разошлись. Шац сел на скамейку, на ковер вышла следующая пара.

Шац сидел на скамейке неподвижно до конца тренировки.

Потом был общий для всех борцов душ, прощание, мы вышли из зала втроем: Данька, девушка и я.

– Тело помнит, – были первые слова Шаца на улице Энгельса, – понимаешь, тело, оказывается, все помнит, а я думал, что уже забыто...

Мы проводили девушку, остались вдвоем.

– А знаешь, – Шац остановился, – а знаешь, я ведь, когда сидел на скамейке, умирал...

– Как?! – не понял я в первую минуту. И охнул: я, тренер, я, балда, я ведь должен был знать, что бывший спортсмен, вдруг давший прежний темп, темп, который «помнит тело», на беговой дорожке, на баскетбольной площадке или на ковре, рискует смертью! Сколько раз я читал и слышал о таких смертях!..

...А собирались мы то у Игоря Павлова – дворик напротив выхода с Привоза (здесь начиналась Молдаванка), комната с черным потолком, пишущая машинка у окна, в которой я никогда не видел бумаги, продавленный до пола диван, стол, накрытый... нет, не то слово! На столе стояли: тарелка с кружочками дешевой колбасы, может быть, сыром, тарелка с нарезанными помидорами, граненые стаканы и бутылка-другая молдавского «Вин де масе» («Вино столовое»), которое называлось за этим столом «Вино в массы». Комната была перегороджена шкафом, за шкафом скрывалась на своей лежанке от шумных, произносящих одно за другим диковинные имена и неслыханные строчки гостей мама Игоря Валентина Ивановна.

– «В сухой реке пустой челнок плывет»... – могло доноситься до нее...

Впрочем, круги тогдашней богемы были разные. Один, например актеры и художники, тусовался в баре ресторана «Красный» за рюмкой коньяка и чашкой черного кофе и у дамы сердца художника Олега Соколова, «где бывал и я». О круге Игоря Павлова Шац, выпивавший свою чашку кофе в баре, может, и знал, но бывать в его берлоге никогда не бывал. Даня дружил с Борей Нечердой, а тот, бездомный тогда, преломлял хлеб в подвале банка на Пушкинской – большое помещение с низким потолком, с зарешеченным окном, выходящим на тротуар, сыроватое помещение, которое сердобольным руководством банка было отдано большой полиомиелитом своей сотруднице, молоденькой и миловидной Нине Решетнёвой (передвигалась она на коляске). С ней-то и жил тогда в подвале Боря Нечерда. И гостеприимный их стол собрал свою компанию.

Боря Нечерда писал в то время на русском, подражая гремевшему на всю страну Андрею Вознесенскому, но, «сам собі пан», уже пытался выбиться из-под его влияния. Потом он перешел на родной ему украинский. Я помню и русские его стихи (начала):

Бродяжничаю,
Сею смуту,
Начинаюсь, как вёсны...

и украинские:

Одвересніло,
Тиша з тиш...
Яка врочистість соборова!..

К Нечерде из Киева и из других городов приезжали – так у них водится – поэты, попадали в подвал, уединялись в каком-то углу и вели там свои долгие, не слышные другим разговоры. Как-то спустился в подвал и харьковчанин Борис Чичибабин...

Заслышав об этом «огоньке», заглянул в подвал (спустился с небес, на коих обычно пребывал) поэт Ефим Ярошевский. Вошел, высоченный, наклонив голову из-за низкого потолка, сделал один метровый шаг к столу, другой... Прислушался к разговору, дал свою оценку, хмыкнул... У Ярошевского был свой круг, проверенный, с надышанной атмосферой.

Полупомешанные хиппи
По бедности немногих лет
Просили на духовный хлеб...
Я мог бы дать. Но где мне взять
На всех?

На столе в подвале банка были то же «вино в массы», та же дешевая колбаса – но какие разговоры блистали за столом! Филфаки одесского университета и педина могли бы им позавидовать. И приводимым строчкам чтимых поэтов («Баба я – вот и вся провинность, государства мои в устах...»), и убийственным оценкам нечтимых, и новым стихам, свежим, как только что вынутый из печи хлеб:

Пролітала над хатами ворона,
Зачепилась крильми за вірвовку,
Впала сіромаха коло млину,
Та й співає таку кломийку:
– Бийте в тулумбаси, бийте,
Бийте у літаври, не бійтесь,
З кого соловейка не вийде,
Вийде хоч ворона біла...

...И потехе был час. В то время всеми смотрелась «Великолепная семерка» с Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, прекрасно, по-моему, сделанный вестерн, мы разыгрывали сцены из фильма: Шац, сидя на полу у стены «с кольцом» в руке, кричал, картавя:

– Къис!

И «Къис» знаменитой походкой Юла Бриннера (Юлом был, как правило, я, спортивный парень) измерял по диагонали низкое помещение банковского подвала, шагал, навесив руку над «кобурой»...

А еще – Боря в легком подпитии вызывал меня побороться. Я его, конечно, укладывал, а он – сухощавый, жилистый, ловкий, привыкший, видимо, к победам в молодецком единоборье, но с серьезным спортом не знакомый, – никак не мог поверить в поражение...

Прошло проверочное время, Шац понял, что со мной можно откровенничать не только «о бабах». Однажды, движимый уж не знаю какой мыслью, он рассказал...

...что был он в 1950 году летом по каким-то делам в России, сидел, 17-летний юнец, на вокзальных ступеньках в небольшом городке, пусть будет Серпухов, ждал поезда, который опаздывал вот уже на два часа. Всего пять лет после окончания войны, виды вокруг – аховые. Обшарпанные, со следами пуль и снарядов стены вокзала, глубокая лужа на площади, в ней отражается разрушенная, без куполов, снесенных войной, покосившаяся церковь, домишки по обе стороны храма, безногий инвалид в рванине катит на коляске с колесиками-подшипниками прямо перед ним... Неумолчное тарактение вокзального радио прерывается торжественным голосом диктора:

– ...новая работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», опубликованная в сегодняшнем номере газеты «Правда», – очередной ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, в диалектический и исторический материализм. И.В. Сталин, гениально обобщая всю историю развития общества, развивает теорию исторического материализма о соотношении базиса и надстройки, дает законченное понятие о надстрой-

ке, ставит по-новому вопрос о характере скачков и революции, о классах и классовой борьбе... В своей работе вождь подверг сокрушительной критике «новое учение о языке» академика Николая Марра, которое на протяжении двух десятилетий господствовало в СССР, и поставил точку в дискуссии относительно «марризма»...

Слова диктора прямо накладывались на то, что видел перед собой Даня, на лужу перед ним, на разрушенную церковь и бедные домишки, на безногого, катившего ниоткуда в никуда...

– И я вдруг подумал тогда, – говорил мне Даня, – неожиданно подумал, меня как стукнуло: что в этом нелепом мире я должен быть умным, очень умным...

Коза. Я приехал из Кишинева в Одессу, к Шацу. Принимал он меня всегда одинаково: мы обнимались, он, не говоря ни слова, открывал холодильник, выставлял на стол все еды, какие там были, садился за столом напротив и складывал на груди руки. Разговор начнется потом, когда я буду сыт.

Шац не пил и не курил, не понимал людей, которые выпивают, поэтому наши беседы проходили «всухую». Впрочем, в подогреве они не нуждались. Все фразы были короткие, емкие, у нас сложился тот режим обмена информацией, который отличает старых друзей. Ему, обмену, не нужны ни подробности, ни пояснения. Шац знал меня, я знал Шаца.

Приходила мама Дани Мина Давыдовна, пожилая женщина с измученным лицом (никогда не мог сказать о ней *старуха* или *старушка* – несмотря на возраст, она все еще работала и умом была жива). С порога спрашивала, покормил ли меня Додик, узнав, что покормил, успокаивалась и шла на свою половину (единственная комната Шацев на Пушкинской была перегороде на тонкой стеной).

В воскресенье, когда мы просыпались после позднего разговора, завтрак был уже на столе – традиционный воскресный одесский завтрак – вареная, еще дымящаяся картошка, селедка с луком, тарелочка с кружочками колбасы, салат из овощей с Привоза (как пахнет!), сливочное масло, свежий хлеб.

А после завтрака мы, кое-как одетые, небритые («на время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно»),

выходили на Пушкинскую и неторопливо, коротко переговариваясь, а иногда просто хмыкая или крякая (понятно, что вслед молодой женщине), переглядываясь, шли по направлению к Дерibasовской.

С Шацем часто здоровались, иногда он останавливался, чтобы о чем-то условиться, – у него всегда было множество больших и малых дел, я терпеливо его дожидался; Шац шел по своему городу, коего был неотъемлемой частицей.

Дерibasовская, хотя до полудня еще далеко, уже полна народу. У Пассажа не протолкнуться. Да мы и не спешим. Вот совсем остановились: у входа в Пассаж стоит у лотка с бижутерией такая хорошенькая девчонка, что не остановиться двум старым негодьям просто нельзя. Мы стоим, любимся, даже причмокиваем...

– Коза, – бросает Шац.

– Коза... – соглашаюсь.

Потом, глянув на Шацеву седую щетину на щеках и подбородке, я сочиняю строчку:

Мы с тобой, как два ежа...

А Шац немедленно присоединяет к ней вторую:

А она, как май, свежа.

– Выступили? – отбивается от нашего преме́рзкого внимания девчонка. – Ну и валите отсюда!

Мы не обижаемся, мы усмехаемся, мы улыбаемся, мы даже смеемся от несоответствия «майского» личика продавщицы уважаемого Пассажа и ее уличной отповеди. Послушно, однако, поворачиваем и идем вниз по Дерibasовской, идем неторопливо, перебрасываясь словечками, часто оглядываясь и то хмыкая, то крякая, – два старых негодья, которым уже не по зубам весеннеликие грубиянки.

Волшебный мелок. Шац приехал ко мне в Кишинев. Не один, конечно. Тары-бары-растобары, за общим столом, тары-бары-мансес бойдем (сказки на чердаке) – обо всем, обо всех понемногу, потрошечки.

Потом мы уединяемся в моей комнате. Здесь разговор серьезнее. Данька, сидя напротив, рассказывает о своих делах. Бывший «абстракционист», как называли его партийные деятели, Шац в Одессе теперь нарасхват. Имиджмейкер и спичрайтер мэра города (я чуть ухмыляюсь, потому что эти жуткие для русского языка слова еще и лишены у Даньки буквы «р»). Режиссер городских уличных праздников. Художественный руководитель «Юморин». Член жюри КВНов. Режиссер конкурса красоты «Мисс Одесса-87»...

– Волк в овчарне, – кидаю я.

– Там такие овечки... – соглашается Шац. – А еще я – директор Украинского дома культуры!

– Ничего, что я перед тобой в майке? – спрашиваю.

Наступает моя очередь рассказывать. Вышла книжка сказок (показываю, Шац листает).

– Интересный новый герой, – отмечает, – Буб Енчик. Рассказчик? Сам его придумал?

– Сам, – и продолжаю отчет: работа в газете, командировки по всей Молдавии, сценарии-документашки в киностудии: один сценарий – три моих зарплаты в газете...

Но в моем разговоре в этот день заложена одна хитрость. Я слишком хорошо знаю Шаца, знаю, как он может вдруг загореться и от чего, а мне его «пожар» нужен. И я жалею:

– Книжка-то вышла, а одна сказка так и осталась недописанной. Начал, но дальше не пошло. Похожа, между прочим, на мультяшку...

Шац настораживается; «мультяшка» его, драматурга по призванию, цепляет за живое.

– Про волшебный мелок... Что им ни нарисуешь – все становится живым... – я хитрю, но стараюсь скрыть это. – Понимаешь, он, розовый, попал одной девочке в руки случайно, она нарисовала на тротуаре человечка, ну, как проволочного, а тот вдруг запрыгал вокруг нее...

Шац некоторое время молчит. Молчу и я, зная, чего стоит его молчание. Даже подошел к своей библиотеке, рассматриваю корешки книг.

– А дальше, – вдруг слышу голос Шаца, – дальше будет вот что!

Я оборачиваюсь: Данька стоит, снял очки, протирает платочком, но смотрит на меня.

– Вот что... – и я замираю, потому что из уст Шаца выливается оригинальнейший полный приключений, неожиданных поворотов, всем от мала до велика интересный мультяшник. Если я раньше говорил про капельное орошение, то сейчас меня окатывал обильный ливень.

– А заканчивается твоя сказка, – победно и оттого торжественно сообщает Шац концовку мультяшника, – вот чем: девочка хлопает ладошками, сбивая с пальцев остатки мела, а они падают на асфальт лепестками розы!

У меня не было магнитофона, о диктофонах я только слышал, память в тот раз подвела – и я не запомнил приключений волшебного мелка, только последний эпизод. А Шац – я потом попросил повторить рассказанное – даже о нем не вспомнил, для него это были семечки.

В комнате Дани на Пушкинской кроме сотен книг всегда были детские игрушки. Они были расставлены на полках, на подоконнике, на полу стояла картонная коробка, полная «избранных» игрушек. Игрушки, игрушки – как, может, те, которых не было у него в детстве, как, может, те, что могут еще поучаствовать в придуманной им игре.

...Сколько я помню и знаю Даню, он всегда был на ногах, сидеть для него – мука. А чтобы написать полноценную сказку, нужно, я думаю, как раз уметь сидеть. Сидеть – вставать – ходить – потом снова сесть, чтобы записать строчку, пришедшую на ум во время ходьбы....

А теперь – рискованный эпизод. Шацы, Даня и его жена Наташа (хорошенькая полуполька, полурусская), приехали из Германии к нам в Нью-Йорк. Жена моя уступила друзьям свою комнату, Шац затащил туда два чемодана, стал разбирать. Прежде всего выставил на тумбочку у кровати Тору, молитвенник, портрет Любавичского ребе и сложенную вдвое ермолку. Я узнаю, что он, прежде не веривший ни в Бога, ни в черта, стал религиозен, совсем недавно, в религию его втянул (не могу подобрать пока другого слова) сын, живущий в Америке, а того

в свою очередь... вот, подобрал слово: а сына приобщили к религии местные иудеи.

Ладно. Религия – личное дело. Я считаю, что дело сердца.

Личное... К завтраку – была суббота – Шац вышел в кипе. И сел за стол необычно торжественный. Это у меня-то в доме, у старого друга, который знает его, что называется, насквозь!..

Понтовитость – на мой взгляд, чисто одесская черта. Каждый одессит то тут, то там – в одежде, в похвальбе престижной квартирой, должностью, супермодным костюмом, «бабой» – позволяет ее себе, понтовитость. Слово это любопытное, переводов его много, примеры – показушность, выпендрож. Я бы назвал ее еще одесскостью. Понт Эвксинский – не от него ли пошла вереница слов, которая начинается понятными каждому словами «понт», «понты»? Заканчивается она, кстати, великолепным выражением: «обломать понт».

Итак, кипа и надутый вид. Я не выдержал, спросил – как можно осторожнее спросил:

– С чего вдруг, Даня? – и кивнул на ермолку.

– Я должен быть со своим народом, – преважно ответил Шац. Так ответил – это передо мной-то! – что я сразу понял, как мне надо себя вести.

Пока моя жена накрывала на стол, я сходил в свой кабинет, нашел там в ящике письменного стола нательный крест, кем-то мне подаренный, вдел в ушко нитку и навесил крест на грудь. Вернулся.

– Ты молодец, Даня, – сказал я, притрагиваясь к кресту, – молодец: напомнил мне, что всяк должен быть в некий день со своим народом. Ведь сегодня день святого Пантелеймона!

Я боялся, что Дан может встать и выйти из-за стола, у известного менталитета есть такое «право», и мы со старым другом можем даже поссориться. Прошла минута молчания... Нет, голова Шаца сработала, он ничего-ничего не сказал, он, умница, признал, кажется, и мою демонстрацию справедливой. Завтрак пошел своим путем – подрумяненные в «печке» лепешки, ветчина, сыр, масло, творог, чай и кофе по желанию... мы говорили обо всем, но, конечно, все помнили о кипе и кресте ей в ответ.

Больше к столу Шац ермолку не надевал, а молился он по вечерам, плотно закрывая за собой дверь комнаты.

Религия, я считаю, – дело глубоко личное. А обеденный «межнациональный», но старых друзей стол – дело, братцы, общее, здесь царь и бог – блюда на столе, вкусные блюда и соответствующий им разговор.

Живя в Германии, Даня постоянно мотался в Одессу. Одеситы иначе не могут: Одесса, что бы там ни говорили о ней приезжие и вообще неодесситы, Одесса – мама. Она и обнимет (руками друзей-приятелей), она одарит запахами любимых блюд (за каждым окном в Одессе свое яство, и по улице идешь, как по выставке запахов), она усладит слух неповторимым говором улиц, а синяя полоска моря над морским портом скажет тебе: ты дома...

Но я хотел сказать совсем не об этом, я просто забылся, произнеся слово *Одесса*...

Как-то, только что вернувшись из Одессы в Германию (Франкфурт-на-Майне), Данька сразу позвонил мне и рассказал притчу, услышанную где-то на углу Дерибасовской и Ришельевской. В эту притчу, сказал Шац, он просто влюблен.

«Умер некий мужчина... И вот он пред вратами рая. У врат стоит, естественно, Петр с мечом в руке. Петр пропустил нашего покойника, сразу его разглядев, и все в нем поняв, в рай, а тот вдруг остановился в воротах и спрашивает у архангела:

– Скажи мне, святой Петр, а в чем все-таки был смысл моей жизни? И вообще человеческой? В чем, в чем ее смысл?!

Петр оперся на меч и неспешно начал:

– Ну вот ты родился... Попал в детский сад... Узнал там что-то новое, детишки вокруг, няни, горшочки, то, се – было?

– Да было, наверно. Кое-что до сих пор помню...

– Потом ты пошел в школу, учился, прогуливал, влюбился – помнишь?

– Как не помнить. И сейчас перед глазами.

– Окончил школу. Аттестат вручили на выпускном вечере, потом гуляли всю ночь – помнишь?

– Еще бы! Тогда как раз...

– Затем институт. И его ты закончил, и тебе вручили диплом. Было?

– Было.

– Начал работать, тебя награждали грамотами, путевками... В Ялту ездил.

– Ялту хорошо помню.

– После мотался по командировкам. Однажды попал даже в Сибирь.

– Мимо Байкала проезжал, – затуманился покойник. – Такая красота!..

– Но я вот что тебе напомним. Ехал ты из Сибири в Москву тоже поездом. И перед Челябинском зашел в вагон-ресторан...

– Было, наверно. Не мог же я голодным...

– А в ресторане сел за один стол с девушкой.

– Помню, но уже смутно. Была, кажется, девушка...

– А она вдруг попросила у тебя солонку. И ты ей солонку передал. Было? Было? – тут Петр даже наклонился к покойнику.

– Да вроде так...

– **Вот!..»**

